

1

Очень тёмная была ночь, когда я, нагруженный разными свёртками, усталый как чёрт и голодный, подошёл к своему переулку. Здесь, у аптеки, я должен был подождать её. На улице уже было тихо и глухо. Москва отдыхала после тревожного дня перед тревожной ночью. Все мы, москвичи, знали, что через несколько минут обязательно прозвучит сигнал воздушной тревоги, фриц опять начнёт рваться к нашему городу и мы уведём женщин, детей и стариков в бомбоубежище, а сами побежим на свои места — в лестничные клетки, в подъезды и на крыши, будем слушать надсадный вой чужого мотора и с надеждой смотреть на кинжально-перекрещивающиеся лезвия прожекторов. Нетерпеливым сердцем будем подгонять зенитчиков и будем радоваться, когда услышим первые удары наших батарей, — они такие сильные, молодые и стучат полновесно, как весенний первый гром, когда, резвяся и играя, — как там дальше? Ах да, — грохочет в небе голубом! Знал я также, что молодой командир батареи у зала Чайковского будет командовать: «Огонь!» — и после каждого залпа он будет звонко материться, и это всем нам, дежурящим на окрестных крышах, будет как маслом по сердцу.

Да, скоро объявят воздушную тревогу, а пока Москва немножко отдыхала, и я стоял на перекрёстке, в полной темноте, и, видно, никогда не забыть мне этого часа в последнюю августовскую ночь в Москве, когда я ждал на углу возле аптеки эту женщину и знал, что завтра я уйду из моего врезанного в сердце города, и от неё уйду, и буду делать что-то большее, чем дежурство на крышах и тушение зажигалок.

А время всё шло, и от нетерпения я уже насчитал несколько раз по пятьсот, а Валя всё не приходила. Я вошёл в парадное, где стояла будка автомата, опустил гривенник и, отсчитывая в синей темноте буквы и цифры на телефонном диске, набрал её номер. Телефон басисто прогудел, и Валя сняла трубку. Это сразу ударило меня по сердцу. Я слышал её голос, а ведь она должна была отсутствовать. Это поразило меня. Она, значит, дома, а я стою на ветру и жду её, а она вовсе и не собирается проводить меня, провести со мной вечер, проститься...

Я сказал:

— Это я, что ж ты не идёшь?

И я услышал, как она ответила мгновенно, как будто знала, что я позвоню, и как будто давно уже отрепетировала свой ответ.

— Понимаешь, Зойка, — сказала она, — ничего не выйдет, мне не вырваться сегодня. Семейные дела заели. Да и поздно уже!

Какая, к чёрту, Зойка? Я почувствовал, что у меня упало сердце. Я сказал:

— Я не Зойка. Это Митя говорит.

Она засмеялась.

— Нет, Зойчик, не могу. Не проси.

Я сказал:

— Я завтра уезжаю. Ведь ты же плакала. Что ты несёшь? Мы не простимся?

Она помолчала, потом сказала тихо и очень внятно:

— Неудобно. Надеюсь, ты напишешь. Будь здорова.

Я услышал комариный писк разъединения и механически повесил трубку.

Вышел я из будки, так резко толкнув дверь, что ушиб кого-то, стоящего там в темноте.

— Ох, — сказал кто-то, — чуть-чуть не убил.

В парадном стояла девушка. Синий свет не давал возможности разглядеть её лицо.

Я сказал:

— Извините, — и хотел было уйти.

Но она сказала:

— Я вас давно жду. Одолжите мне гривенник, пожалуйста, или разменяйте двадцать копеек.

Я протянул ей монету. У меня их всегда полны карманы. Она взяла гривенник, нашарив в темноте мою руку, и я ощутил прикосновение горячих и сухих пальцев. Она сказала:

— Если можно, не уходите. Я мигом.

Я остался в парадном. Я не мог как следует осознать всё случившееся, и на душе у меня было непоправимо скверно.

Ведь, чёрт побери, честно говоря, я был в эти дни, в эти ужасные первые дни войны как какой-нибудь сумасшедший: я был счастлив. То есть я был потрясён войной, я ненавидел фрица, я знал, что уйду на войну во что бы то ни стало, но вот в глубине сердца у меня, несмотря на такое ужасное горе,

как война, светилося счастье. Это было потому, что я верил в Валину любовь и сам любил её всем сердцем. А теперь, после разговора по телефону, особенно после её правдивого голоса, который так здорово врал и обзывал меня Зойкой, после этого я почувствовал, что ничего хорошего в моей жизни не осталось и что я теперь как солдат, у которого отняли его личное оружие и все могут стрелять в него, как в бессмысленный столб. Я совершенно растерялся от этого разговора и не знал, что делать. Из автомата вышла девушка. Она сказала:

— Спасибо, что подождали. Вы меня знаете?

— Нет.

— Да мы же рядом живём, вы в конце переулка, а я не доходя, наискосок. Я недавно в Москву переехала, а раньше жила в Туле. А теперь мама там, а я у тёти... А вас я часто встречаю в переулке, и одна девочка мне про вас всё рассказала.

Ну и ну, всё ей рассказала. Вот это да. А что рассказывать-то?

— Так что я всё про вас знаю, Митя Королёв. Дайте руку, а то я боюсь ходить по этому переулку.

Она взяла меня за руку, и мы вышли. Ночь стала ещё темней. Вокруг слышались сдержанные голоса прохожих, люди говорили тихо, как будто боялись, что их услышит какой-нибудь фриц, там, наверху.

Мы постояли немного с незнакомой девушкой на краю тротуара и пошли домой. Не хотелось мне идти домой, прямо скажем — противно было, особенно потому, что я весь был обвешан покупками, как какой-нибудь пижон. А ещё противней было, что покупки эти оказались ни к чему, ни для кого. Все эти

пакеты и свёртки хрустели новой бумагой как океанские, словно смеялись надо мной. Девушка вдруг сказала:

— Значит, никто не придёт проводить вас и проститься?

Я сказал:

— Это не ваше дело.

Она вздохнула.

— Всегда, когда стоишь у автомата, слышишь чужой разговор. Конечно, это нехорошо.

Мы сделали ещё несколько шагов, и девушка вдруг остановилась.

— Это, наверно, горько и обидно — звонить куда-то и узнавать, что тебя не придут проводить и проститься?

— Да.

Она как будто рассердилась, потому что спросила сухо:

— Может, мне отстать от вас?

— Да. Отстаньте, пожалуйста.

Она крепче сжала мою руку.

— Это не дело — прогонять меня, раз я боюсь ходить этим переулком. Ладно, я буду молчать и не буду мешать вам переживать.

Я с удовольствием дал бы ей затрещину, но меня мучило сейчас другое, и я промолчал.

Мы проходили мимо большого серого дома, когда она сказала:

— Вот я здесь живу.

Я сказал:

— Ну, пока.

Но она не отпустила мою руку.



— Я провожу вас, мне не хочется домой.

Мы вошли в наш двор, где нас тихонько окликнули дежурные, и прошли в самый дальний конец. Моя дверь была налево от садика, я жил теперь один на нашем первом этаже. Я пошарил в почтовом ящике и взял ключ.

Я сказал:

— Ну вот. Пока.

Но она сказала:

— Можно, я к вам зайду? Давайте уж я провожу вас, раз никого больше нет.

Я никак не реагировал на её слова. Меня мучило совсем другое, и то, что говорила эта девчонка, не имело никакого значения. Я отпер дверь и впустил её к себе. В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажёл свет. Потом я свалил всю эту сотню свёртков на стол и вынул из бокового кармана плоскую бутылочку старки — я купил её в коктейль-холле, мне нравилось, что она плоская, как у какого-нибудь отчаянного героя старого кинофильма.

Девушка в это время, не дожидаясь моей помощи, сняла плащ и повесила его на гвоздик, торчавший в стене у дверей. Она с любопытством осмотрелась. Особенно её заинтересовали Валины карточки в разных ролях, которые я развесил в своей комнате.

Я сел на стул у окна. Она подошла ко мне и сказала:

— Хотите есть?

— Нет, — сказал я.

— Надо поесть, — сказала она и показала на свёртки. — Вон сколько еды, у меня слюнки текут.

Сейчас я накрою на стол, у нас будет прощальный ужин, а потом я уйду, и вам не надо будет меня провожать. Здесь я не боюсь — совсем ведь рядом.

Я сказал:

— Действуйте как хотите.

Она принялась вертеться вокруг столика и хлопотать, и на лбу у неё появились забавные заботливые морщинки, она начала играть во взрослую хозяйку, брала с полки посуду, и всё это получалось у неё очень симпатично и ловко. И как она комкала освободившийся пергамент и обсасывала палец — было тоже очень забавно. Я подумал: как жалко, что у меня нет никого на свете близких, и как хорошо было бы иметь такую вот забавную сестрёнку с девчонскими повадками и серьёзным личиком. Я бы уже смог сделать так, чтобы моя сестрёнка меня любила, я бы ей покупал всякие ленточки и вообще баловал бы.

Я сидел у окна, больная нога привычно ныла, и хотя меня непрерывно мучила вся эта подлая история с Валею, я всё-таки вдруг захотел есть и подсел к столу.

Девушка сидела напротив меня, она тоже ела и всё поглядывала на меня, словно удивлялась, что вот я такой невежливый, ужинаю с дамой и не веду оживлённую светскую беседу. В общем-то она была права. Она-то ни в чём не была виновата.

Поэтому я сказал:

— Давайте выпьем!

— Ну что ж...

Я налил из плоской бутылочки ей и себе.

— В общем, — и она подняла рюмку, — в общем, я пью за то, чтоб вы были счастливы.

Я сказал:

— Спасибо.

И увидел, что она никак не может решиться выпить.

— А вы, в общем-то, пили когда-нибудь?

Она поставила рюмку и прикрыла её сверху ладонью.

— Честно?

— Да.

— Это в первый раз.

Она сконфуженно улыбнулась. Просто давно не видел такой занятой девчушки. Я сказал:

— Если в первый раз — лучше не пейте, не надо. Обожжёт горло, захватит дыханье, слёзы побегут.

Я выпил свою рюмку. Она смотрела на меня и явно побаивалась. Я налил себе ещё.

— Ну хорошо, — сказала она, — я не буду пить. А вам интересно узнать наконец, кто же я такая?

— Нет. Неинтересно. Мама в Туле, тётя здесь. Чего же ещё?

— Ну а как меня зовут — тоже неинтересно?

— Абсолютно, — сказал я. — Ну так как, будете пить, нет? А то ваша рюмочка выдыхается, давайте её сюда — я сам её выпью...

— Нет, — сказала она и отодвинула от меня свою рюмку, — нельзя! А то вы узнаете все мои мысли...

— Ого! Значит, вы скрываете свои мысли. Любопытно, какие же это ужасные мысли, если их нужно скрывать?

Честное слово, она покраснела. Она отвернулась к окошку, и я увидел, что она вся покраснела, у неё шея стала розовой. Я пожалел даже, что так сказал.

— Слушайте, — сказал я, — только не обижайтесь. Я сам обиженный. Скажите мне, наконец, как вас зовут.

Она вся засияла и благодарно взглянула на меня.

— Меня зовут Лина...

Я сказал:

— Знаете что? Тяпнем, Лина. Тяпнем за нашу с вами мужскую дружбу.

— Тяпнем! — сказала она.

Она довольно мужественно глотнула и стала закусывать с таким обыкновенным видом, как будто делала это на дню три раза. У неё такая была напряжённая мордочка, и вся она такая была забавная и трогательная — ну, сестрёнка, просто сестрёнка моя, которой нет.

Я сказал:

— Вы домой шли, Лина. Вас, наверно, ждут?

Но она махнула вилкой, на которой висела шляпка белого грибка.

— А... была не была!

— Отчаянная, да? — сказал я. — Сорвиголова?

— Оторви да брось, — сказала она и засмеялась, и было видно штук шестьдесят белых зубов, один в один, крепких, как орешки.

Я налил ей совсем немного, чуть покрыв доньшко. Вот уж не стал бы спаивать такую славную девочку, она была просто прелесть и такая забавная — сказать нельзя.

— Вот, — сказал я, — спивайтесь, заблудшая душа.

И тут она меня удивила. Она скинула тужельки, вскочила на стул и высоко подняла свою рюмочку.



— Я пью за самое большое в нашей жизни, — сказала Лина, и её милое юное лицо стало торжественным и важным. Она трезво и строго посмотрела на меня. — Я пью за Победу.

Она это так тихо и значительно сказала, что у меня сжалось сердце. Я выпил свою рюмку, и Лина выпила тоже. Она всё ещё стояла на стуле и смотрела на меня трезво и сурово. Я подошёл к ней, взял её за талию и опустил на пол. Она всё смотрела мне в глаза без улыбки. Я крепко прижал её к себе и поцеловал. Никогда не забуду прохладное прикосновение её губ. Как будто меня отбросило назад в детство, и я пробежал по июльскому росному лугу босиком, и где-то за зелёным лесом в синем небе звенели колокола. Я держал Лину в своих руках и слышал, как бьётся её сердце, и вдыхал запах её волос, её платья, всего её милого девичьего существа. Я долго так стоял, очень долго, целую вечность, и кровь гудела во мне, шумела и билась. А Лина всё глядела на меня, потом словно устала и закрыла глаза. В это время завывала сирена. Я разжал руки. Лина заметалась по комнате.

— Тревога, — шептала она. — Боже мой, опять тревога! Что же делать?

Она была бледная, и губы у неё дрожали, у бедняжки, — так испугалась. И всё это росистое утро на цветущем лугу, что сейчас цвело в этой комнате, отлетело, ушло от нас, развеялось как дым, поглощённое страшным, рвущим душу воем сирены. Мне нужно было идти на крышу. Я подал Лине плащ.

Её недопитая рюмка осталась на столе. Мы вышли во двор. Ночь была бодрая, свежая, и в небе

ясно блестели небрежно насыпанные звёзды. Лина сказала:

— Я тётю возьму. Отведу в метро, она больная.

Она пошла по двору и исчезла в темноте, только слышно было, как простучали её туфельки и где-то в глубине двора хлопнула наша входная калитка.

2

А я помчался по чёрной лестнице вверх, быстро добрался до седьмого этажа и сделал ещё несколько шагов по железным ступенькам маленькой лестницы, ведущей на чердак. Пахло старой чердачной пылью, все балки были покрыты этой мягкой пылью дома, они были словно замшевые, эти балки, добрые и тёплые, я знал их каждую в лицо. Наш мальчишечий мир лазил сюда ещё в «те баснословные» года, когда мы играли в «казаки-разбойники», и каждый чердачный поворот, каждый каменный уступ был знаком мне и дружен, я мог пройти по чердаку до любого слухового окна, закрыв глаза и не рискуя ушибиться.

На крыше уже сидел дядя Гриша — дворовый водопроводчик, мой напарник по посту ПВО. Брезентовые рукавицы, щипцы и ящик с песком были в полном порядке — мы с дядей Гришей считались лучшими дежурными. Мы гордились этим, особенно дядя Гриша, он был в нашей паре начальником. Сейчас его силуэт темнел возле люка, я окликнул его и сел рядом. После чердачной непроглядной тьмы здесь, на крыше, было совсем светло, я видел маленькую то-